



Николай Васильевич ГОГОЛЬ СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

этот день своего брата, как брата, — он его не обнимет. Всё человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, одному человеку, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжёлыми язвами своих душевных недостатков, больше других требующий сострадания к себе, — он оттолкнёт его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем ещё не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза...

Нет, не воспрядновать нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует воспрядноваться. Есть страшное препятствие, есть непреодолимое препятствие, имя ему — гордость. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид её — гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучше других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресения.

Есть другой вид гордости, ещё сильнейший первого, — гордость ума. Никогда ещё не возматала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Всё вынесет человек века, какое хочешь дай ему название, он снесёт его и только не снесёт название дурака. Над всем он позволит посмеяться и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня...

...Зачем же ещё уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют своё младенчество, то младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается на душу,

то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем ещё не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдалённом сне, оно ещё шевелит нашу душу? Затем, чтобы хотя некоторым, ещё слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, как грустно ангелу на небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряда других дней, один бы день только провести не в обычаях этого века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, всё ему простившего друга... Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог ведь, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.

И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; всё мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполненный образ скуки, достигая с каждым днём неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду, Боже! Пусто и страшно становится в Твоём мире!

Отчего же одному русскому ещё кажется, что праздник этот празднуется как следует и празднуется так в одной его земле? Мечтали это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрёт из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесётся звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, в спыхнет

померкнувшее — и праздник Светлого Воскресения воспряднуется как следует прежде у нас, чем у других народов! На чём же основываясь, на каких данных, заключённых в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь ещё неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы ещё расплавленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; ещё нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя всё, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришёл к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призвала сама собой его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что ещё нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросив с себя вдруг и разом все недостатки наши, всё позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванётся у нас всё сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия один человек. Вот на чём основываясь, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспряднуется прежде у нас, чем у других. И твёрдо говорит мне это душа моя, и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не выдавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твёрдо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твёрдо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспряднуется Святое Воскресение Христово!»

(печатается в сокращении)



В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней — те же всегдашние занятия, та же повседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не повседневная. Ему вдруг представится — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздаётся у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезает вдруг, как только он перенесётся на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов... Даже сам народ, о котором идёт слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадает на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела ещё заря осветить земли. Вздохнёт бедный русский человек, если только всё это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет.

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Ещё сильней! Ещё больше! Потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному Небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у него самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство всё человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

И если в самом деле придётся человеку нашего века обнять в